А. Л. СОБОЛЕВ

ЭПИЗОД ИЗ ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ ПУШКИНИСТИКИ

В архиве писателя Ивана Алексеевича Новикова (1877—1959) среди рукописей его неизданных стихотворений 1920-х годов хранится следующий примечательный текст:

Меж ними все рождало споры
И к столкновениям влекло:
Бартеневские «заговоры»,
В любви везло иль не везло,
И маски светлого дендизма
(Гипертрофия Гроссманизма!),
И тайна «дружеских оков»
(Что строго осудил Чулков).
Цявловский в жар своих усилий
Вливал, забывшись, между тем,
С вином — обрывки новых тем,
А снисходительный Василий
Васильевич ему внимал
И в чае ложечкой мешал.

Там Вересаев ждал с улыбкой,
Когда дойдет его черед,
Чтоб братский ум, в сужденьях зыбкий,
Поставить задом наперед,
Чтоб, не сломавши механизма,
На путь здорового марксизма
Направить чей-нибудь задор...
Но на пути — глядишь — забор,

© А. Л. Соболев, 2022
DOI 10.31860/0236-2481-2022-36-186-200

И за калиткою рябина,
Верховский под рябиной той,
Замысловатый и простой,
И говор — в молоке малина,
И стих, и дух, и борода:
Мечтам увесистое: «да».

И я, седьмой, Вениамином
В роскошной пушкинской семье,
У Лужского перед камином
Купался в сладостном вранье,
И хором общим, хоть без правил,
В законе ритма — пылко правил,
И получал немало ран —
Их председатель и тиран.
Мне мило все в сей дымной сече
Седых юнцов, лихих рубак:
Минувших лет живой призра́к
И оголоски <sic!> давней речи —
Того, кто в мире жарко жил,
Кто нам Россию подарил.

О дружба, дружба! Ты меж нами:
Всех ленинградцев истребя,
Мы почитаем их нулями,
А пушкинистами — себя.
И мы сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой,
Как мы взаимной разнотой.
Но диалектике подвластно
Разнообразие земли,
И четвергом мы зацвели
По-Пушкински легко и страстно:
Его живой и светлый дух
Пьянит умы и нежит слух.

28 янв<аря> 2929 г. <sic!>
Ночь.

Москва.[1]

[1] РГАЛИ, ф. 343, оп. 4, № 94, л. 20—21.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Это, вероятно, единственное поэтическое свидетельство о приватном кружке, посвященном изучению творчества Пушкина, прежде всего — романа «Евгений Онегин». Создан он был в Москве весною 1927 года и просуществовал с большими перерывами около пяти лет, когда распался, не дойдя в толкованиях и до середины текста. Один из инициаторов его создания, М. А. Цявловский, вспоминал:

> Викентию Викентьевичу <Вересаеву> принадлежит мысль — в тесном кругу знакомых вместе читать «темные места» у Пушкина. Я поддержал сделанное им предложение, в кружок были приглашены Г. И. Чулков, Ю. Н. Верховский, И. А. Новиков, Л. П. Гроссман, В. В. Лужский и Л. М. Леонидов. Последний очень скоро отстал, Лужский скончался, между Чулковым и Гроссманом произошло столкновение, из-за которого Чулков перестал ходить, а потом (в 1931 г.) отказался участвовать в чтениях и Гроссман. Прочитав несколько стихотворений (из них я помню «За Netty сердцем я летаю...» и «Мороз и солнце — день чудесный...»), по моему предложению перешли к чтению «Евгения Онегина». Чтения эти продолжались по весну 1932 года.
>
> Первое время собирались мы более или менее регулярно, каждые две недели, сначала у Вересаева, Чулкова, Гроссмана, Новикова и Лужского. Потом несколько раз у меня. У Верховского и Леонидова не собирались ни разу. Чтения эти, обычно заканчивавшиеся ужином, были весьма интересны, и мы с увлечением ими занимались. Первое время вели протоколы, которые должны быть у Вересаева и Новикова. Был даже план издать отдельной книгой, где в диалогической форме изложить все наши толкования прочитанных строф. Читали очень медленно и прочли всего лишь I, II, III и половину IV главы. Во время этих чтений полностью вскрылись те противоречия во взглядах на Пушкина, которые оказались у главных участников. Чулков видит в Пушкине не только человека глубоко религиозного, но и христианина (православного). К этому взгляду примыкает несколько и Верховский. Атеиста в Пушкине видят Вересаев и Гроссман. Много было споров на тему об отношении Пушкина к любви и к женщине. И в этом вопросе Вересаев и Гроссман были согласны в том, что Пушкин не был способен к истинной любви и что таковой в своей поэзии не изобразил. Что касается до комментариев к отдельным местам «Онегина», то в этой области всеми участниками было высказано немало остроумного и нового, которое, будь оно издано, вызвало бы несомненный интерес.[2]

[2] *Цявловский М., Цявловская Т.* Вокруг Пушкина / Изд. подгот. К. П. Богаевская и С. И. Панов. М., 2000. С. 60.

Мельком упоминает этот же кружок в своих мемуарах и Вересаев:

> Образовался у нас в Москве кружок любителей Пушкина. В него входили Цявловский с женою, Ю. Н. Верховский, Л. П. Гроссман, И. А. Новиков, Г. И. Чулков, я, артисты Художественного театра Л. М. Леонидов и В. В. Лужский. Через каждые две недели мы собирались и — читали «Евгения Онегина». В течение двух лет мы успели прочесть всего три главы.
>
> Меж ними все рождало споры...
>
> Тип Онегина. Меняющееся отношение к нему автора по мере развития романа. Значение эпиграфов над главами. Вообще роль эпиграфов у Пушкина, так отличающаяся от роли эпиграфов, например, у Вальтера Скотта или Стендаля. Выброшенные Пушкиным строфы. Всевозможные мелочи, на которые мы наталкивались при чтении, например: «Онегин был... ученый малый, но (?) педант (?)». Какой педантизм в том, чтобы касаться всего слегка и с ученым видом знатока хранить молчанье в важном споре? Почему «*взвившись* занавес шумит», а не «взвиваясь»? Иногда на обсуждение одной строфы уходил целый вечер.[3]

Третий мемуарный фрагмент, касающийся того же предмета, содержится в обширных и до сих пор не опубликованных полностью мемуарах Н. Г. Чулковой, жены Г. И. Чулкова, одного из участников кружка:

> Кажется, в 1932 (или 33) году несколько писателей-пушкинистов стали собираться для беседы о Пушкине. Собирались раз в неделю вечером по очереди у каждого из участников этого кружка. Это были все наши соседи: Цявловский Мстислав Александрович, Гроссман Леонид Петрович, Новиков Иван Алексеевич, Вересаев Викентий Викентьевич, артист Художественного театра Василий Васильевич Лужский и Юрий Никандрович Верховский. Только один Верховский жил далеко от нас — в Каретной Садовой, а остальные приходили к нам пешком. Читали «Евгения Онегина». Разговаривали о Пушкине, об особенностях его творчества, о его темах, его философии, мировоззрении и т. п. Каждый освещал по-своему тот или иной вопрос, и это вызывало много споров. Беседы были очень оживленны и не бесплодны. Вересаев особенно горячо

[3] *Вересаев В. В.* Невыдуманные рассказы. М., 1968. С. 314.

относился к высказываниям товарищей. Он предложил вести записи этих бесед.[4] Беседы затягивались иногда до утра. Перед беседой предлагался ужин, причем в этом ужине по программе должно было быть какое-нибудь оригинальное блюдо, смотря по фантазии хозяина.

Не знаю, как было у других, а у нас Г<еоргий> И<ванович> не доверял мне инициативу исполнения этого номера и сам покупал угощение, стараясь удивить своей выдумкой. Однажды он притащил мне за ноги огромного краба, которого я с трудом поместила в большой рыбный котел, чтобы сварить его. Все ахнули, увидев на столе это красное чудовище.

Участники этих собраний были сфотографированы в квартире В. В. Лужского. Теперь, когда я это пишу, четверо из них уже умерли — Цявловский, Вересаев, Лужский и Чулков.[5]

И, наконец, последняя группа воспоминаний, касающихся кружка, принадлежит перу Л. П. Гроссмана. В написанной им краткой биографии Цявловского среди прочего говорится:

Он был всегда близок и к писателям, создававшим своеобразные творческие истолкования великого поэта и его бессмертной поэзии. В. В. Вересаев, И. А. Новиков, Г. И. Чулков, Ю. Н. Верховский составили «группу» для совместного чтения и общей интерпретации «Евгения Онегина», неотъемлемым членом которой оказался и Мст<ислав> Ал<ександрович>. К этому объединению примкнули артисты художественного театра Л. М. Леонидов и В. В. Лужский. В разгоравшихся прениях Мст<ислав> Ал<ександрович> Цявловский играл обычно ведущую роль, поражая обилием своих пушкиноведческих знаний и горячей трактовкой каждой темы.[6]

Еще подробнее он вспоминал о составлявших кружок лицах в набросках так и не оконченных мемуаров, сохранившихся в его позднем дневнике:

---

[4] В этом месте Н. Г. Чулкова делает примечание: «Я уверена, что вдова Вересаева, М. Г. Смидович, сохранила эти записи».

[5] РГБ, ф. 371, карт. 6, № 1, л. 197—198. Фрагмент напечатан: Разговоры о Пушкине: (Два эпизода из литературной жизни начала 1930-х годов) / Публ. Я. В. Леонтьева // Археографический ежегодник за 1999 год. М., 2000. С. 239. Упомянутая Чулковой фотография сохранилась. Она сделана 24 мая 1928 г., на ней запечатлены Чулков, Цявловский, Гроссман, Лужский, Верховский, Новиков и Вересаев. Рукой Чулковой на обороте написано: «Кружок читающих “Евгения Онегина” 24 мая 1928 в квартире В. В. Лужского 10 ч<асов> в<ечера>» (РГБ, ф. 371, карт. 6, № 27).

[6] РГАЛИ, ф. 1386, оп. 2, № 75, л. 33.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Цявловский сообщал огромное количество сюжетов из всех областей пушкинианы. Все новейшие открытия в области изучения Пушкина, все предания, идущие от современников-мемуаристов, были у него на памяти и обильно питали споры. Он помнил все высказывания Бартенева, все свидетельства Анненкова. Общее знанье Пушкина давало ему возможность любопытных и ценных сближений. По поводу стиха «как жизнь поэта простодушна» он удачно вспомнил о начале моцартизма у Пушкина.

Новиков любил ставить парадоксальные вопросы, иногда шутливо заострять довольно понятные и несомненные места. Это вносило оживление и некоторый налет веселости в споры. Иногда наблюдения беллетриста оживляли неожиданными истолкованиями текст. Он возглавлял то «талмудическое» теченье в чтении Пушкина, которое намеренно создает трудности и воздвигает вопросы для возбужденных контроверз и создания сложных экзегез. Такой подход создавал подчас забавные шутливые эффекты, но мог приводить и к довольно серьезным выводам и наблюдениям.

У Вересаева были интересные вопросы теоретической психологии, писательского обращения с образами, к преображаемым драмам. Детальное знание пушкинской биографии сообщало большую живость его анализам и иллюстрациям.

Чулков поднимал очень значительные вопросы и давал оригинальные и ценные истолкования. Вопросы христианской метафизики, психологи страстей получали своеобразное и подчас очень тонкое истолкование. Так толковал он стихи — «она поэту подарила младых восторгов первый сон»... Это противоречило другим истолкованиям в духе фрейдизма — первые эротические сны. По поводу очень яростных споров и настойчивых предложений каждым своего комментария Чулков как-то отметил неправильность этого эристического <sic!> жеста: стих поэта не только многообразен, но и многосмысленен, и нельзя сводить его к единому истолкованию.

Верховский говорил мало, редко и недолго, но делал обычно очень дельные замечания. Вопросы стиля, стиха, старинного стихосложения, иногда вопросы старинного быта, пушкинской эпохи. Он превосходно знал пушкинские стихотворные тексты, отлично помнил их и передавал без искажения — быть может, это и есть подлинное любовное знанье Пушкина. Мне всегда были подозрительны «пушкинисты», плохо запоминавшие стихи Пушкина и не решавшиеся их цитировать на память.[7]

[7] РГАЛИ, ф. 1386, оп. 2, № 147, л. 5—9 (записи на отдельных листах). Приведено в примечаниях К. П. Богаевской и С. И. Панова в кн.: *Цявловский М., Цявловская Т.* Вокруг Пушкина. С. 228.

Вопреки обычной историографической практике приведенные фрагменты воспоминаний разных лиц почти не противоречат друг другу. В частности, нет никаких разногласий относительно персонального состава кружка — его составили семь человек: писатели В. В. Вересаев, И. А. Новиков, Г. И. Чулков и Ю. Н. Верховский, филолог М. А. Цявловский и два актера — Василий Васильевич Лужский и Леонид Миронович Леонидов. Профессиональные дефиниции здесь (кроме, может быть, двух последних случаев) имеют весьма условный характер: Чулков и Верховский были, помимо прочего, незаурядными филологами. Первый из них, не получив профессионального образования, сделался к 1920-м годам крупным и общепризнанным специалистом по биографии и творчеству Тютчева. Верховский, напротив, окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета и уже своими юношескими работами завоевал себе известную ученую репутацию, конвертировать которую в практические успехи мешали особенности характера и преследовавшая его болезнь.[8]

Не полностью чужды истории литературы, причем именно пушкинистики, были и двое оставшихся: Новиков написал два посвященных Пушкину романа, а Вересаев составил (при помощи картотеки Цявловского — к явному неудовольствию последнего) знаменитый впоследствии воспоминательный центон «Пушкин в жизни», выдержавший несколько изданий.

Сама идея медленного построчного чтения, вполне привычная для современной педагогической и филологической практики, была, по меркам 1920-х годов, достаточно свежей. Точнее сказать, новаторство состояло не столько в самом методе, сколько в выборе в качестве объекта текста Нового времени: до начала XX века, по крайней мере в России, построчному комментированию подвергались

[8] Последнее обстоятельство не принадлежит к числу общеизвестных. В 1904 г., когда Верховский занял место библиотекаря Санкт-Петербургского политехнического института, по его поводу возникла служебная переписка между профессором О. Д. Хвольсоном и директором института А. Г. Гагариным. Первый сообщал 18 сентября 1904 г.: «Сейчас узнал от своего зятя, который с г. В<ерховским> был в гимназии и в университете, что В<ерховский> страдает чрезвычайно редкими — не более одного в год — нервными припадками. Они не помешали ему быть оставленным при университете и служить в Публичной Библиотеке. Они и не помешали ему быть рекомендованным Вам многими близко его знавшими профессорами Политехникума». Однако именно из-за этих нервных припадков полгода спустя он был уволен. Гагарин писал Хвольсону 14 февраля 1905 г.: «Верховский проявил новые доказательства своего болезненного состояния и неспособности к деятельности библиотекаря. Надеюсь, что Вы и Ваш зять были добры и советовали ему уйти, так как будет тяжело мне его удалять, несчастного человека» (ЦГИА СПб, ф. 478, оп. 53, № 740, л. 7—7 об., 12).

Пушкинский кабинет ИРЛИ

лишь сочинения греческих и латинских авторов. Как представляется, первым, заимствовавшим эту методику из арсенала филологов-классиков, был Алексей Павлович Флеров (1866—1954), лингвист и педагог.[9] Его теория «объяснительного чтения» была применена на практике в издании «Капитанской дочки» (Одесса, 1912), вышедшем с его «вступительной статьей, объяснительными примечаниями, многочисленными вопросами и сгруппированным по темам материалом для сочинений». В этой книге примечания — иногда наивные, но порой весьма глубокие даже по меркам сегодняшнего дня — сделаны иногда к каждому слову, но уж точно к каждой фразе пушкинской повести.

Впрочем, издание это хотя и прошло не полностью незамеченным,[10] не оказало зримого влияния на текущую филологическую практику. Напротив, у московского кружка пушкинистов была очевидная методологическая генеалогия: идея построчного разбора «Евгения Онегина» явно восходила к теории «медленного чтения» М. О. Гершензона. Личность его была по-разному значима для участников кружка: с Вересаевым он если и был знаком, то весьма шапочно; с Новиковым состоял в переписке; Чулкова хорошо знал много лет; с Верховским не одно десятилетие дружил; юному Цявловскому покровительствовал и даже рассорился из-за него с Н. О. Лернером; к Гроссману явно благоволил. Как представляется, именно к филологическим манерам Гершензона-пушкиниста восходит магистральная идея кружка.

Первое упоминание в переписке о предстоящем заседании относится к зиме 1927 года. 17 февраля Л. П. Гроссман сообщает Цявловскому: «Сегодня вечером собрание “московских пушкинистов” состоится. Все предупреждены и будут. Ждем нашего предводителя хора. Не опаздывайте!»[11] Этот день падал на четверг: как известно из приведенных выше мемуаров, собрания (за вычетом отмененных по общему согласию) происходили раз в две недели по четвергам. При этом ни об одном из ближайших заседаний сведений у нас нет: архивы участников сохранились не полностью, жили они в одном городе, причем некоторые из них имели квартирные телефоны: все это самым пагубным образом отражается на эпистолярии. Следующие сведения относятся к заседанию 7 апреля 1927 года —

---

[9] См. о нем: *Телкова В. А.* Алексей Павлович Флёров — видный педагог и методист: (К 150-летию со дня рождения) // Русский язык в школе. 2016. № 10. С. 31—37.

[10] Выявлены три рецензии, см.: *Фомин А. Г.* Puschkiniana. 1911—1917. М.; Л., 1937. С. 34.

[11] РГАЛИ, ф. 2558, оп. 1, № 73, л. 2.

и то только потому, что его переносят на 14-е число. 6 апреля 1927 года Гроссман писал Новикову: «Дорогой Иван Алексеевич, только что Мст<ислав> Ал<ександрови>ч сообщил мне, что завтра никак не сможет быть на собрании. По-моему, следует перенести на след<ующий> четверг. Если Вы с этим согласны, не откажите в качестве счастливого обладателя телефона сообщить об этом Вересаеву и Лужскому (3.61.16)».[12] Вероятно, кружок успел собраться 14 и 28 апреля (или, может быть, 5 мая): в любом случае, следующее известное заседание было назначено на 19 мая. В этот день Гроссман писал Цявловскому: «Ждем Вас сегодня в 9 час. Вересаев выполнил обязательство. Приходите... и пробка в потолок! Леонидов будет с брегетом (недремлющим). Смотрите же не опаздывайте на его первый звон (в 9 час.)».[13]

После этого наступает долгий перерыв: вероятно, летом заседания не проводились, но даже об осенних встречах сведений у нас нет. Впрочем, эта информационная пустота прерывается замечательным документом: как было сказано в приведенных выше воспоминаниях Цявловского и Чулковой, во время встреч кружка велись протоколы — и часть их сохранилась среди материалов разных лиц, отложившихся в фонде Новикова. Очевидно, заседания протоколировались участниками по очереди (среди них выделяются заполненные характерным почерком Верховского), с меняющимися принципами стенографирования — от констатации идей до почти дословной записи. Различаются и формальные принципы: так, в первых записях не указывается, в чьей квартире происходит заседание, тогда как позже это будет отмечаться. В начале каждой записи приводится список присутствовавших. Начинаются они с заседания 10 ноября 1927 года (в протоколе ошибочно записано «1925»). Приведем эту запись целиком.

10 ноября 192<7>.

Цявловский, Гроссман, Верховский, Чулков, Вересаев, Лужский.

I гл., XXXI—XXXIV.

I гл., XXXI.

Цявловский. Несомненно биографич<еский> характер — «взлелеяны в восточн<ой> неге» — «на сев<ерном> снеге» — «роскошных ковров». Но кто? Никаких данных для решения мы не имеем. Но ножки — южного периода, несомненно.

[12] РГАЛИ, ф. 343, оп. 4, № 617, л. 3.
[13] РГАЛИ, ф. 2558, оп. 1, № 73, л. 3.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Гроссман. «Ах ножки, ножки! Где вы ныне?». Со стороны приема: не есть ли это прием сниженья поэтич<еского> стиля до армейско-офицерской фривольности. Или же в пушкинскую эпоху это звучало иначе, чем теперь?[14]

Чулков и Верховский не находят тут налета фривольности.

Цявловский — Во времена П<ушкина> слово «ножка» не звучало так стерто, как теперь. Ср. Языкова: «Да здравствует Марья П<етров>на, и ручки и ножки ее»[15].

Чулков. Нет «плохих слов», все зависит от контекста.

Верховский. Касается инструментовки. Удвоение рифмы — собств<енно> основного гласного звука в пред<ыдущей> строке.

Давно ль для вас я забывал
И жажду славы и похвал
счастье лет
лугах след
Или окраска на е:
Взлелеяны в вост<очной> неге
На сев<ерном>, печальн<ом> снеге.

Отмечает еще преобладание открытых рифм (оканч<ивающихся> на гласн<ые>).

Гроссман. Забывал и жажду славы, и похвал, и край отцов и т. д. И похвал — синтаксически [неправильно] неловко.

XXXII.

Цявловский. Сравнит<ельно> с предыдущей и послед<ующей> строфой снижение лирич<еского> подъема, большая фривольность.

Гроссман. Почему условною красой.

Верховский. Условность балетных движений, [где балерины давали своим поклонникам условные знаки, но понятные только поклонникам]

Чулков. Условна потому, что ножка обута.

Гроссман. Она (красота ножки) м<ожет> б<ыть> безусловна, хотя и обутая.

М. Г. Смидович.[16] Условная красота ножки балерины, профессионально, м. б., не столь красивой, как другие. Условн<ая> — в зависимости от обуви.

---

[14] Фраза вписана на полях.

[15] Неточная цитата из стихотворения Н. М. Языкова «Песня» («Разгульна, светла и любовна...»).

[16] Мария Гермогеновна Смидович (1875—1963) — жена Вересаева.

[Вересаев. Условные движения балетных танцев.] А в общем — ножка Терпсихоры не имеет в виду балета.

Заключение общее. Вопрос остается неразъясненным.

Вересаев. Неоцененную награду очень неправильный оборот, нужно: неоценимый.

Верховский. Неоцененный — прилагат<ельное>, а не прич<астие> неоцененный.

Цявловский. Люблю ее, мой друг Эльвина — реминисценция лицейской Эльвины, к ней относится также следующий стих — под скатертью столов.

XXXIII—XXXIV.

В каждой из этих строф идет речь о разных женщинах — единогласное мнение.[17]

Далее следуют конспекты восьми заседаний:

24 ноября 1927.
Цявловский, Лужский, Верховский, Гроссман, Вересаев.
I гл., XXXV—XLV.

8 декабря 1927.
Новиков, Цявловский, Верховский, Вересаев, Лужский.
I гл., XLVI—XLVII.

22 декабря 1927.
Цявловский, Новиков, Гроссман, Вересаев, Лужский.
1 гл., XLVIII—L.

5 января 1928.
Чулков, Гроссман, Цявловский, Верховский, Вересаев, Новиков.
1 гл., LI—LIV.

19 января 1928.
Чулков, Верховский, Новиков, Цявловский, Лужский, Вересаев.
1 гл., LV—LIX.

2 февраля 1928.
Верховский, Цявловский, Гроссман, Лужский, Вересаев, Новиков.
1 гл., LIX.

[17] РГАЛИ, ф. 343, оп. 4, № 1044, л. 1—3.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

17 февраля 1928. У Вересаевых.
Вересаев, Цявловский, Гроссман, Лужский, Новиков.
Общее обсуждение первой главы.

8 марта 1928.
Лужский, Чулков, Гроссман, Верховский, Новиков, Вересаев.
Альбом Онегина.

Далее хронология конспектов прерывается. На следующих листах архивной единицы (не исключено, что она была скомпонована стихийно из подходящих по смыслу и формату бумаги листов фонда) находятся несколько комментариев к отдельным строкам «Евгения Онегина», например:

Недремлющий брегет. В 1923 — столетие со дня смерти Абрагама Брегета. <...> Брегеты бывают с репетицией, звонившие при нажатии пружины, и самобойные, отбивавшие часы, ½, ¾. И такие самобойные брегеты были особ<енно> изысканны. Недремлющий — указывает на то, что у Онегина был самобойный.[18]

Едет на бульвар — какие в Петербурге бульвары?
Надев боливар — широкополая шляпа — зимою? При бобровой шубе, при «морозной пыли»
Гуляет на просторе — где на бульваре простор?
«Противоречий очень много».[19]

От следующих заседаний 1928 года записей не сохранилось. Известно лишь несколько дат: так, 3 мая Чулков пишет Гроссману: «Дорогой Леонид Петрович! Позвольте напомнить Вам, что сегодня “Пушкинский четверг”. Сбор друзей у меня к 9 ½ часам».[20] Во время заседания 24 мая в квартире Лужского сделана коллективная фотография участников кружка.[21] 9 октября 1928 года (дата по почтовому штемпелю) Лужский сообщает Новикову: «Так мне не везет с Пушкинским четвергом, что представить себе не можете! И в этот — 12-го и следующий — 17-го — я занят»[22] (записка более чем странная: 12 октября падает на пятницу, 17-е на среду!).

[18] Там же, л. 13.
[19] Там же, л. 14.
[20] РГАЛИ, ф. 1386, оп. 1, № 136, л. 5.
[21] См. примеч. 5.
[22] РГАЛИ, ф. 343, оп. 4, № 735, л. 4.

Осенью, вероятно, заседания не проводились: 19 октября того же года тот же Лужский сетует Гроссману: «Жаль, что нет Викентия Викентьевича — я уже соскучился по “Пушкинским”, поучительным для меня беседам!»[23]

Протоколы возобновляются рукою Верховского с первого заседания 1929 года, и начинаются они с конфуза: Верховский, как обычно бывает в его письмах, по забывчивости ставит в заголовке прошлый год: 3 января 1928 года, но день недели не подходит: наверняка это 3 января 1929.[24] В этот день обсуждались черновики второй главы. С марта в деле вновь появляются полноценные протоколы заседаний.

7 марта 1929. У Вересаевых.[25]

Гроссман, Цявловский, Новиков, О. М. Новикова,[26] Верховский, Чулков, Вересаев

Гл. 2, XIX—XX.

21 марта 1929. У И. А. Новикова.

Гроссман, Цявловский, Верховский, О. М. Новикова, И. А. Новиков, Чулков, Вересаев.

Гл. 2, XXI, XXII, XXIII.

11 апреля 1929. У Вересаевых.[27]

Гл. 2, XXIV.

---

[23] РГАЛИ, ф. 1386, оп. 1, № 100, л. 5 об.

[24] РГАЛИ, ф. 343, оп. 4, № 1044, л. 18.

[25] Три недели спустя, 28 марта 1929 г., Лужский писал Гроссману: «Две вины у меня перед Вами: <...> второе — это не ответил Вам на Вашу любезную реляцию о Пушкинском четверге у Вик<ентия> Вик<ентиевича> без меня, с критикой не только пушкинистов, но и пушкинисток. <...> Благодарю Вас, всех пушкинистов и дорогую Серафиму Германовну! Если бы Вы только знали, дорогой Леонид Петрович, как я благодарен всем Вам за то громадное удовольствие, ту громадную честь для меня, что Вы — знатоки слова, ценители изящного, хранители лучшего из лучших в русском искусстве, допустили меня до возможности бывать среди Вас! Сердечно благодарю Вас и всех. Ив<ану> Алекс<еевичу>, от которого имею письмо, где есть и Ваша подпись, с реляцией о последнем четверге пушкинистов, пишу отдельно.

Льщу себя надеждой, что, м<ожет> б<ыть>, следующий раз я уже и смогу хоть ненадолго да быть, а там уже и моя очередь, но это только, как говорят на театральном языке: готовимся к постановке» (РГАЛИ, ф. 1386, оп. 2, № 320, л. 1—1 об.).

[26] Ольга Максимилиановна Новикова (урожд. Левенштейн, в первом браке Принц; 1882—1949) — жена Новикова.

[27] После этого вечера, 17 апреля 1929 г., Лужский писал Вересаеву: «Сердечно благодарю Вас за Ваше участие к моей болезни — надо сознаться, чрезвы-

Пушкинский кабинет ИРЛИ

25 апреля 1929. У Чулкова.
Цявловский, Новиков, Чулков, Гроссман.
Гл. 2, XXV.

На этом регулярные сведения о вечерах обрываются уже безвозвратно. Единственное исключение — 7 ноября 1929 года, когда Чулков писал Гроссману: «Дорогой Леонид Петрович! Напоминаю Вам о нашем Пушкинском вечере. Приходите к восьми. Этот хороший обычай надо поддерживать. Я всех известил, кроме Верховского. Авось он помнит».[28]

Весной 1931 года произошел тяжелый конфликт между двумя участниками заседаний — Чулковым и Гроссманом: первый обвинил второго в том, что тот исходя из личных интересов отговорил его писать роман о Достоевском. Возникшее из этого дело рассматривалось третейским судом, в который входили Вересаев, Цявловский и Д. Д. Благой, — и после его вердикта Чулков посещать заседания перестал.[29] Если Цявловский не ошибается, чтения в усеченном составе продолжались до весны 1932 года, но никаких материалов этого времени нам найти не удалось.

Остается прояснить несколько *темных мест* новиковского стихотворения.

Бартеневские «заговоры»... — Вероятно, имеется в виду предположение П. И. Бартенева о дефектности текста строки «Племен минувших договоры» (гл. 2, стр. XVI): «Всего важнее восстановлять произведения поэта, как они были приготовлены им самим к оглашению, или как он что написал, но не мог напечатать по условиям цензурным или каким иным. Так, например, Онегина и Ленского в их деревенских беседах занимали, конечно, не племен минувших договоры, а заговоры. Тогдашнее юношество знало все подробности Французской революции, а договоры политические не могли занимать молодых друзей».[30]

Мечтам увесистое: «да». — Довольно очевидный намек на один из классических символистских текстов — дифирамб «Огне-

---

чайно упорной, затяжной, медленно поправляющейся! Благодарю и за извещение о "спорах и занятиях"на очередном пушкинском четверге. Ах как я их много пропустил, шутка ли, третий был без меня!!» (РГАЛИ, ф. 1041, оп. 4, № 292, л. 1).

[28] РГАЛИ, ф. 1386, оп. 1, № 136, л. 12.

[29] См. коммент. К. П. Богаевской и С. И. Панова в кн.: *Цявловский М., Цявловская Т.* Вокруг Пушкина. С. 228—230.

[30] *Бартенев П. И.* О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников / Сост., вступ. ст. и примеч. А. М. Гордина. М., 1992. С. 311.

носцы» Вяч. Иванова: «Из Хáоса родимого / Гляди — Звезда, Звезда!... / Из Нет непримиримого — / Слепительное Да!..»[31] Из участников кружка Верховский и Чулков были биографически весьма близки Иванову, а Цявловский и Новиков состояли с ним в переписке.

И я, седьмой, Вениамином... — Новиков уподобляет себя библейскому Вениамину — младшему сыну Иакова и Рахили.

[31] *Иванов Вяч.* Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 243.

Пушкинский кабинет ИРЛИ